

# ВОЛНА

— Женья, это ты?  
— Нет, Юль. Я Дима.  
— А, Дима... да. Ты пришел.

— Я пришел попрощаться. Сегодня же наш отряд должен был разъехаться по домам.

— Да... А я вот... лежу, — слабо улыбнувшись, девушка окинула взглядом палату. Июньское солнце пробивалось сквозь жалюзи и березу за окном, играя зайчиками по стенам. Лекарство мерно падало, обдавая волнами стенки капельницы. Вязкая тишина висела в воздухе — лишь за дверью слышался приглушенный разговор врачей.

— Же-ень! — снова позвала Юля.

— Я тут.

— Почему так получилось?

— Шторм. В Карелии они бывают.

— Да... бывают... Мне так жаль...

— Все хорошо, Юль.

Тень медленно ползла вокруг лампы по режущему глаза белому потолку — как и день, и два, и три назад. Тонкий запах хлорамина въедался в кожу. Хотелось прокашляться.

— А Влада с тобой?

— Нет, ее нет с нами.

— А Коля? — встрепенулась она надеждой.

— Он тут. С нами. Он остался на острове.

— Я же его видела... Но не смогла добраться.

— Никто бы не смог, Юльчик, — утешил ее голос. — В такой прибор никто бы не смог.

— Его нашли?

— Нет еще. Скоро найдут.

— Да... Прикоснись ко мне. Пожалуйста, — прошептала она растрескавшимися губами.

— Я не могу. Ты же знаешь.

— Сколько вас?

— Почти все. Денис из второго отряда. Мишка, который «табань» и «гребни» пугал. Помнишь?

— Помню...

— Люда. Света. Воло...

— Хватит! — вскрикнула Юля. — Не надо больше.

Он замолчал.

Тень добралась до букетика лилий, стоявшего у изголовья.

— Жень... зачем мы туда пошли? У тебя не было никакого предчувствия?

— Нет. Там же красиво. Тайга, озера, чайки... А какие закаты...

— Не помню... Ничего не помню. Только волны до неба. И в волнах — вы...

как желтые поплавки...

— Нас вынесло на скалы. А потом мы просто замерзли. Четыре часа в воде — у нас не было шансов.

Девушка сжала край простыни:

— Так нечестно. Зачем ты приходишь? — спросила она у тени.

— Сказать тебе спасибо.

— Ты уже говорил. Вы все говорили: «Спасибо». И умирали! Я вас вытаскивала, а вы — умирали! — собравшись с силами, она крикнула: — Это нечестно!

— Прости нас, Юль. Прости, что мы не выжили.

— Да пошли вы!

Обида, обида на них, предательски погибавших у нее на руках, на себя, такую бесполезную и бессильную, которая «не смогла», «должна была, но не смогла», на небо, обрушившееся внезапным шквалом, на коварное, казавшееся таким ласковым озеро жгучим комом подкатила к горлу и прорвалась глухим рыданием.

— Уходите, — прошептала она, когда сил на слезы больше не осталось. — Просто уйдите.

— Хорошо. Мы будем ждать тебя.

— Где? — спросила Юля.

— В бухте между скал. Колька окуней наловил — мы уху сварили. Приходи.

— Приду. Приду...

Мерно, под ритм капельницы укачивая на своих спокойных лазурных волнах, сон уносил ее в зеленую пучину забытья.

## ЭХО

Сидит.  
Ногу подогнул под себя, голову подпирает рукой.  
Скрипит.

По бумаге.

Пишет. Чай давно остыл, а он все пишет.

Холодно, а у него чай остыл. Разве это нормально?

Окно все в узорах. Морозит. Бродит кто-то там.

Лучше туда не смотреть. Жутко.

Хочется крикнуть: «Эй, вы! Убирайтесь! Он мой! Не отдам!»

Но он этого не любит.

Ему нужна тишина.

И чтоб огонь потрескивал. Или вода из крана капала: диньк... диньк.

Вот и молчу. Смотрю на него. На окно не смотрю — на него. А он на меня — нет. Все пишет.

Хоть бы взглянул. Я тут лежу в уголке тихо, ловлю каждое его движение. Ну оторвись, подними глаза, ведь вот она — я! Твоя. Хватит смотреть. Хватит писать. Оторвись!

Услышал.

Встал, поставил чайник.

Тот завыл, как эти за окном. Застучал, как ветви по стеклу. А он не слышит. Он ничего не слышит. Как я зову, как тяжело вздыхаю, как томлюсь его невниманием — не слышит.

Хочется плакать, но боюсь его расстроить. Потому что люблю. Потому что — его.

Вот только слезинку пушу незаметно, чтоб не так тоскливо было.

Откинулся на спинку. Глотнул чая. Крепкого, сладкого. Холодного. Хотя вон же вскипел.

Закурил.

Смотрит.

На меня? Правда?! Нет... Не видит. Смотрит и не видит. Куда-то вдаль. Наквось.

Ну почему? Почему ты меня не видишь, ведь вот я, из плоти и крови, не то что эти! Я, которая боится вздохнуть, чтобы не спугнуть твой взгляд! Позови меня! Слышишь?

Нет... Тебе темное эхо их нашептываний дороже меня, живой и преданной! Оно бьется в твоей голове, и ты их слушаешь, слушаешь, слушаешь...

А потом скрипишь по бумаге. Пишешь. Зачем? Зачем тебе это? Они тебя не согреют. Ты не выживешь с ними. И без них не выживешь — и ты это знаешь. И я знаю, а они — нет. Они никогда не были людьми! И не будут. Им неизвестно, каково это — быть живыми. Чувствующими боль. И как мстят живые живым за то, чего не понимают.

Вот они пришли. Стройные. Красивые. Черные. До мурашек великие.

Конечно, кто я рядом с ними? Мне ли бороться за место в твоём сердце — сердце, что так гулко бьется при их приближении?..

И кто для них ты?

Лишь голова, в которой раздаются отзвуки их слов:

«Твой дух — пустыня. В мире теней только и разговоров, что о пустыне и о восходе. О том, как чертовски здорово наблюдать, как медный, слегка убывающий диск встает в наполненном маревом воздухе и невнятный шелест, словно от тысяч пересекающих время караванов, падает с медленно опускающегося на землю неба».

Ты улыбаешься: у тебя получилось вложить их смыслы в навеянные ими формы.

Ты живешь.

Потом перечитываешь написанное.

Перечеркиваешь: «Все зря. Все — зря».

И снова пытаешься перевести нечеловеческое на человеческий: «И сомненье — как эхо. / Злой огонь меж скал диких ущелий. / Умирать мне не к спеху — / Даже смерть не имеет здесь цели».

А я ведь все слышу. Их. Тебя. Пусть не понимаю, но слышу. Чувствую. Как ты видишь себя пустыней, изборожденной морщинами каньонов. Как идешь их узкими извилами меж огненных багровых стен. Как бьешься о них, проверяя, чего стоят твои боги. И не знаешь, что за тобой иду я. Хоть куда. Хоть в ядовитые джунгли, хоть в ад. Лишь бы с тобой.

Не знаешь. Не веришь. Не зовешь.

Но пока ты тут. Пока ты мой. Родной. Пока ветер гремит жестью за окном и гонит тени. И они, уходя, снова кидают в тебя слова. Запретные: ты хватаешься за

висок — где-то там жгутом перекачивается боль — и пытаешься вонзить в него ногти.

Не выдерживаю.

Соскакиваю с дивана, подхожу к тебе.

Не решаюсь обнять, лишь опускаюсь рядом на пол. Кладу голову на колени.

Проходит бесконечное мгновение, прежде чем ты прикасаешься ко мне. Гладись. Спрашиваешь: «Хочешь есть?» — отламываешь кусок сладко-душистого хлеба.

Из твоих рук... от твоих рук — все что угодно.

Так трепетно. Так, что хочется замереть и остановить время. Навсегда. На вечность.

Я не знаю, кто она — Вечность, но знаю, что ты ее любишь. Значит, и я люблю. Потом. А сейчас просто будь. Просто живи.

Ты будто выдыхаешь. Будто кто-то, терзавший тебя изнутри, ушел. Даже чувствую, как расслабились твои напряженные мышцы. Ты убираешь бумаги в сторону. Говоришь: «Скоро утро. Надо бы уснуть. Пойдем?»

Ты ложишься на диван.

И я — рядом — прижимаюсь к тебе спиной. Хочется свернуться калачиком, чтоб было уютно-уютно, но тебе нравится, засыпая, обнимать меня.

Хорошо. Я буду лежать и стараться не шевелиться. И, крепко зажмурившись, усну.

И буду тоже смотреть сны. Свои.

Как мы играем на поляне в яркий солнечный день. Как я чихаю от тысяч запахов, от щекочущих нос ромашек и лютиков.

Как я счастлива оттого, что солнце еще высоко и до вечера еще очень далеко.

И пусть этот день никогда не закончится.

Пусть ты будешь валяться со мной в траве, тискать меня, трепать за уши и запускать пальцы в шерсть.

И еще пусть на меня никогда не нападают блохи.

## ЗЕРКАЛО

**М**не нравилось видеть ее лицо. Даже по утрам. Отекшее после бессонной ночи, с отпечатком складок подушки на щеке, с мешками под глазами цвета чухонского неба, с льняной прядью, прилипшей к тонким, приопущенным в уголках губам маленького, кукольного рта — оно все равно оставалось для меня родным.

Мне нравилось смотреть, как она вставала, хлопала себя по лицу, разгоняя кровь, брала со стола стакан со вчерашним чаем, оставлявшим плотный коричневый налет на стенках, выпивала его залпом, шла, поскрипывая половицами, к умывальнику с ледяной водой, потом поднимала голову, непонимающе смотрела на отражение: «Кто ты?» — наконец, вспоминая, ухмылялась ему, приговаривая каждый раз: «Ну че, привет, новый денек».

После долго расчесывалась гребнем, свивала косу, укладывала ее вкруг головы, оправляла одежду, снимала крышку с тарелки с остывшей картошкой, поливала ее горячим маслом, брала из кучи в углу книгу — обычно это была Библия, и тогда она ее читала страницу за страницей, увлеченно пережевывая завтрак, или открывала на любимой главе «Воскресение» Толстого, застывала

на одном листе, запускала обе пятерни в волосы и беззвучно шептала: «Ма, ма, мамамамамамамам».

Мне нравились эти мгновения, когда даже мыши в подполе затихали под стук настенных часов, а ветер, бессильно отбившись в стекло, улетал шуметь соснами на песчаном яру, — недолгие минуты тишины под потрескивание огня в двустворчатой печи и полешек, изъедаемых древооточками.

В какой-то момент раздавался надсадный металлический хрип кукушки, за-тыкаемый летевшей в нее книгой, и, пунктуальный, как немец, в дом входил он — черные усики, прожженная шинель, глубоко посаженные глаза, доставал из-за пазухи четверть мутной сливовицы, разливал по стаканам, выпивал, закусывал луковицей, кряхтел и задавал риторический вопрос:

— Не спишь?

Она исподлобья, поблескивая волчицей, смотрела на него и отвечала:

— Тебя жду.

— Что ты так кочегаришь? — спрашивал он, поводя плечами, но не снимал одежду.

— Мерзну, — огрызалась она.

— Согреть?!

— Что надо?

— А ты тройку не гони, культурная, нимб слетит от ветра! — рычали Черные усики, впечатывая кулак в столешницу, доливали ее стакан до краев и командовали: — Пей! Работа ждет!

Она послушно проталкивала глотки в горло — он жадно смотрел на ее шею — грохала стакан об стол:

— Опять?

— Снова! Ты не бузи, зарплату получаешь — трудись! Труд делает свободным, — смеялся он желтыми зубами. — И не гони на меня! Я тоже, понимаешь, художником был, между прочим! Какие картины писал, ух! Смирись уже! Бог мир таким сделал и нас в нем жить заставил! — вскакивал он, отшвыривая табурет.

— Женишься на мне? — прерывала она поток его умствований.

— Женюсь, Ташенька, женюсь! Вот те крест! Посмотри, что я принес! — Он выворачивал вещмешок, оттуда сыпались кофточки, блузки, заколки, цепочки. — Во! Смотри какой!

Таня дрожащими руками брала очередного плюшевого медведя, утыкалась в него курносым личиком, шептала: «Здравствуй, милый. Я назову тебя Лелем», сажала его в угол и спрашивала напарника:

— А белое платье? Хочу белое платье!

— Будет! С другой партии обязательно будет! — заверял он ее блеском карих глаз, падая на колени: — Таша! Ташечка, Ташуля! Все будет хорошо!

— Дурачок ты, Тоша! («Меня Слава зовут» — «Плевать!») Глупенький. — Она гладила его натренированными пальцами, напевая: «День погас, и в золотой дали вечер лег синей птицей на залив».

Слава-Антон затихал, слушая ее преобразившийся голос, потом нехотя вставал, говорил:

— Пора. В Клепачицах террорюков заловили, тамошних и озерковичских гонят на акцию.

— А что, сами не могут? Или соляра кончилась?

— Ты ж знаешь этих... они не мараются.

— Сколько брать?

— Три обоймы хватит, — отвечал он, протягивая браунинг ха-пэ тридцать пятого года.

— Ну что, пойдём до крапивы сводим, — говорила Татьяна, заканчивая снаряжать три по тринадцать магазина.

И снова наступала тишина. Мне не нравилась эта тишина, когда мыши, обнаглев, выбегали доесть крошки со стола, когда кукушка нудно куковала полдень, когда псы заливались за окном, скрипел снег или чавкала грязь от множества шагов, и ветер шумел в соснах, перемежаемый звуком частых одиночных выстрелов.

После взвизгивала дверь в сенях, они вваливались, разгоряченные, краснощечие в избу, кидались к столу, жадно пили, оттирали передо мною кровь с рук; Таня говорила, что жутко замерзла и никак не может согреться.

Антон грел ее отчаянно на скрипучем топчане под приговоры: «Любимый, делай это, делай, скотина, бери, тварь, бери, бери!» — их рычание становилось хриплым и тяжелым; она снова начинала его ненавидеть, ненавидеть этот запах, ввалившиеся глаза, черные усики, царапала до крови эти острые скулы, он грозился удавить ее, как гадюку, и удавиться самому, она гнала его чистейшим матом.

Он пулей вылетал из дому, проклиная стерву и сшибая ударом двери штукатурку со стен, она падала на свою лежанку и вонзала бледный взгляд в дрожащую у потолочной балки паутинку.

Я любило эти обессилевшие руки, это неровное дыхание. Я любило Татьяну.

Годы прошли, и я все так же живу с нею. Каждое утро она подходит ко мне, приглаживает седые кудри, зовет к завтраку внучек и больше никогда — никогда! — не спрашивает у меня свое имя, лишь зажигает толстую свечу и быстро твердит:

— Приими милостию Твоею и всех внезапно преставльшихся к Тебе рабов Твоих Димитрия, Антона, мужчину в клетчатой кепке, Светлану, Кирилла, женщину в зеленом пальто, Виктора, Василия... — и они приходят, один за другим, сотня за сотней, смотрят в тонкие губы, перечисляющие их имена, и ждут ее в моем серебряном сумраке.

Ждут, прощая эти выцветшие глаза, похожие на большое чухонское небо.

